

Денис ЛИПАТОВ

ОСЕНЬ НА ПАУЗЕ

Григорий Медведев. Нож-бабочка: Сборник стихотворений. – М: Воймега, 2019. – 48 с.

«Нож-бабочка», как сказано в аннотации, – дебютная книга Григория Медведева, хотя сам автор далеко не дебютант в свои тридцать шесть лет и хорошо известен читателю публикациями стихов в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Собственно эти стихи в основном и составили книгу. Всего в книге 37 стихотворений, и разделены они на три части: 11 в первой, 15 во второй и ещё 11 в третьей части. Нож-бабочка появляется в стихотворении «Лето оклеено смертью с изнанки...», завершающим первую часть. Для дальнейшего разговора процитируем его здесь полностью:

Лето оклеено смертью с изнанки.
Чем бы поддеть таким? Нож-
бабочка бьётся, вертась, о фаланги,
кожу царапает сплошь.

Это без троек окончить девятый
класс и гулять дотемна.
Бабочка, бабочка, как ты не прядай,
будешь приручена.

Лязгают узкие крылья стальные,
резво взлетают в зенит.
И, нарезая зигзаги шальные,
лезвие воздух разит.

– Пересказать, – вопрошаю негромко, –
заданной книжки сюжет?
– Незачем, – молвят Алёшка и Ромка, –
там ничего про нас нет.

Библиотечный подклеен газетой
ветхенький том, не беда.
Бабочка, бабочка, список на лето
не дочитать никогда.

Смеем предположить, что это стихотворение является программным для Григория Медведева на данном этапе – ведь книга это, если можно так выразиться, «моментальный снимок» поэта, а поэт продолжает жить и развиваться, и, уверены, в будущем у него выйдет ещё не одна книга стихов. И потом, не случайно же именно из этого стихотворения появилось и название настоящей книги. Из него, как из зерна, вырастает она вся: её интонация, её поэтика – а это поэтика ретроспекции – её словарь и оптика. Почти каждое стихотворение в книге – это стихотворение-воспоминание. Воспоминание о школьном или дворовом детстве. Поэтому нередки такие, например, обороты с глаголом помнить: «**Помнишь**, как радовались...», «**Помню** школьником был, шалопаем...», «Жил каждый день, но почти ничего **не помню**...», «**я помню**, как он шипел, как медленно он тёк...», «Блуждая в сумрачном лесу, / **я вспомню**, как смотрел с веранды...» и т.д. Или конструкции, обходящиеся без глагола «помнить», но напрямую отсылающие к

неблизкому уже прошлому: «Ну да, плоховато жили...», «Я надевал в десятый / топорщившийся, мешковатый пиджак (надевал и злился, / всё ждал, когда дорасту), в котором отец женился / в восемьдесят третьем году...», «Это время уже прошло...», «Это даже не середина жизни...», «Выцветший снимок: школьники у стены...», «пока отгорожен от прочего малолетством...», «Это прабабка моя Наталья в саду...».

В девяти стихотворениях – так или иначе – упоминается школа, в шести – лирический сюжет развивается из воспоминаний о дворовых, «пацанских» историях (разумеется, нередки случаи, как, например, в процитированном выше «Лето оклеено смертью с изнанки...», когда в одном и том же стихотворении эти «тропы» пересекаются), в четырёх случаях («Это прабабка моя Наталья в саду...», «Облетает с клёнов хохлома...», «Глянцевая бумага, блёкнущие цвета...», «вот уже нам позволено умирать...») сюжетобразующей является ситуация рассматривания старых фотографий. Прочитанные подряд, эти стихи и создают своеобразный монохромный эффект чередующихся черно-белых снимков или даже короткометражного фильма-хроники, а отдельные стихи – это стоп-кадры, попытка поставить фильм «на паузу», чтобы подумать, вспомнить, лучше рассмотреть детали. Стремление это заявлено уже в первых, открывающих книгу строчках:

Август стоит на Яузе,
На невеликой реке.
Осень стоит на паузе
Где-то невдалеке
(«Август стоит на Яузе...»)

Нетрудно заметить, что таким образом в книге развивается архетипический сюжет «изгнания из рая» или воспоминания об утраченном рае – читай минувшем детстве – и хотя сами картинки, сами истории, составляющие эти воспоминания, далеко не всегда идиллические – как, например, в стихотворении «Потому что беспалой ладони...», в котором отрефлексирована ситуация выбора между помощью третируемому одноклассникам товарищу, изгоем класса, и заведомо негативной оценкой такого поступка со стороны «остальных пацанов», которые уже отказали ему, – уж таково свойство человеческой природы, что воспоминания эти наполнены сердечной грустью, сожалением об утрате и, в общем, окрашены в тёплые тона. На последнем упомянутом стихотворении хотелось бы остановиться подробнее, потому что история, рассказанная в нём, сообщает книге тот импульс, который делает её не просто механически составленным сборником хороших стихотворений, а именно книгой с оригинальным замыслом. Сама по себе история, конечно, тривиальна: суть её конфликт личности и социума. Лирический герой отказывает в помощи изгоя, потому что сам боится стать изгоем:

Потому что беспалой ладони
мало проку в перчатке, Кирилл
носит варежки, но никого не
допросится, кто б подсобил

из ребят их ловчее напаялить,
в коридорном толчётся тепле,
протирая культяпкой наледь
на стекле...

потому что ладонью беспалой
рукавиц не натянешь, Кирилл

со своей этой просьбою малой
и ко мне подходил.

Герой понимает, что помощь оказать необходимо и просьба-то малая, но он опасается, что «остальные пацаны», которые уже отказали, воспримут это как слабость с его стороны, и его статус в компании, или даже лучше сказать – «в стае», будет поставлен под сомнение. Подобный конфликт, подобный страх – самому стать изгоем – думаю, знаком каждому: ни одно взросление без такого конфликта невозможно. В принципе, желание быть своим среди своих, не отставать, «быть принятым в стаю» – психологически вполне понятно и даже абсолютно нормально. Трагизм ситуации заключается в том, что подчас для этого нужно, доказывая право быть «своим», совершить пусть маленькую, но подлость, отказаться поступить по-человечески. Личность начинается тогда, когда в подобной ситуации человек делает этически верный выбор, не боится идти против мнения «стаи». В стихотворении Медведева лирический герой трусит, делает этически неверный выбор, поступая как все:

Но ведь все пацаны отказали!
Как же мне? И действительно, как?
Оправдания там примут едва ли.
А пока, малолетний дурак,

я друзей на футбольной площадке
нагоняю, машу им рукой
в тёмно-синей китайской перчатке,
но с английской нашивкой «Best boy»

– выбор сделан неверный, но статус – «Best boy» – сохранён.
Сейчас, по прошествии времени, лирический герой осознаёт свою ошибку, и этим всё-таки поднимается над «стаей», становится личностью:

вот когда в смерть отправлюсь я, то в ней
и за тот с меня спросят грешок...

Замечательно то, что «остальных пацанов» герой не осуждает, не становится в позу резонёра, а осуждает, называя «малолетним дураком», он только себя. То есть как личность он вырастает на два порядка: освобождается от влияния «стаи» на свои поступки и при этом не считает себя вправе судить других.

Заметим попутно ещё и такой интересный нюанс: если бы лирический герой стихотворения сделал этически верный выбор и помог беспалому Кириллу натянуть рукавицы, то он стал бы уже не лирическим, а романтическим героем – пошёл против всех, не испугался. Он был бы, конечно, молодцом, но собственно материала для литературы, для прекрасного лирического стихотворения здесь уже не было бы. Такое развитие сюжета было бы интересно разве что для небольшого нравоучительного рассказа для младших школьников. А написать хорошее стихотворение о том, какой вот я молодец, все испугались, а я – нет, или даже пусть и не «я», а «он» – разумеется, невозможно. Выйдет смешно и фальшиво.

Кстати этот конфликт намечается ещё в стихотворении «Лето оклеено смертью с изнанки...» (оно в книге расположено за два стихотворения до «Потому что беспалой ладони...»). Помните, там, на исходе летних каникул, лирический герой, окончивший девятый класс без троек, спрашивает своих дворовых товарищей Алёшку и Ромку, не надо ли пересказать сюжет заданной на лето и, конечно, ими не прочитанной книжки? Но как он спрашивает? *Негромко*. То есть робко. Очевидно, что он ещё не до конца принят в

компанию, не на равных правах с Алёшкой и Ромкой. Повысить свой статус не помогает даже «крутой», раскладывающийся во все стороны нож-бабочка, с которым герой ещё, судя по всему, не особо умеет обращаться, потому что он «кожу царапает сплошь». И тогда герой, чтобы быть хоть как-то полезным, *предлагает услуги*: пересказать сюжет заданной книжки. Замечателен высокомерный ответ Алёшки и Ромки: «незачем... там ничего про нас нет». Ага. Запомним. Мы уже говорили, что лирический герой Медведева, этически поднимаясь над своими жестокосердными товарищами, их не осуждает, не отвергает их. Он их жалеет. Их жизнь так же, как и его, хоть и «будет легка-легка, только с трещинкой посередине, / вроде первого на реке ледка, – / ненадёжна отныне», и может закончиться, в общем, так же легко, как и начиналась:

Из кафешного тёплого зальца
выйти как-нибудь ввечеру,
жизнь легко выпуская из пальцев,
словно пёрышко на ветру.
(«Жизнь будет легка-легка...»)

Собственно, конфликт так и разрешается: свой среди чужих – чужой среди своих – но от общего детства, от общих воспоминаний всё равно не отказаться. Это уже метафизическое родство, потому что роднит нечто совсем не материальное, даже эфемерное, как «опустевший воздух»:

Помнишь, как радовались каждому кругляку
медному в окиси зеленоватой,
в чёрном налёте, с надписью по ободку
с ятями и едва различимой датой.
<...>
Зябко в конце апреля, прозрачен сад,
неподвижны яблоня и рябина.
Двое мальчиков молча склонились над
тем, что время к берегу их прибило.
<...>
Что на эти оболочки купим? Вчерашний день.
Ни рябины, ни яблони, только воздух
опустевший, только косую тень
промелькнувших ласточек острохвостых.
(«Помнишь, как радовались каждому кругляку...»)

В детстве, как известно, почти всё понарошку, всё игра, но ничто не зря. То есть всё урок. Два стихотворения о смерти следуют в книге подряд. Первое – «Жил каждый день, но почти ничего не помню...» – о смерти настоящей, но чужой, и потому вскоре забытой, урок о хрупкости и скоротечности жизни, преподанный лирическому герою ещё во втором классе:

Жил каждый день, но почти ничего не помню
Из того времени – только как после звонка
Вошла и, на нас не глядя, сказала: «Ночью
Миша наш умер», – учительница Валентина
Егоровна – и закрыла лицо руками.
Неправда – второклассники не умирают.

Но оказывается – правда – и второклассники умирают, «не успев таблицу доучить умноженья, / ни Родную – учебник синий – речь до конца / освоить», не пережив самую долгую третью четверть. И хотя эта смерть производит серьёзное впечатление на героя, хотя он даже «наконец-то заплакал», понимая, что «неба и птиц – многого, многого» Миша больше не увидит, к концу весны она всё же забывается:

Долго я, до конца весны, всё думал о нём:
что за сны ему снятся, видит ли он меня?
Но стал забывать, когда наступило лето
с насекомым царством своим и муравейным
братством, с крыжовником, с яблоками такими,
каких у нас не случалось ни до, ни после.

Здесь и ещё один взрослый, если не сказать жестокий, урок – жизнь всё-таки продолжается, со своим «насекомым царством и муравейным братством», с крыжовником, с яблоками, весело идёт дальше, не оглядываясь, и ничья смерть, даже смерть второклассника, не производит на неё – жизнь – ровно никакого впечатления, смерть, оказывается, тоже её – жизни – закономерная составляющая.

Второе стихотворение о смерти – «Хорошо созревает рябина...» – о смерти своей, но случившейся понарошку, но всё равно неотступно преследующей героя «посмертным мороком» с того самого и до сегодняшнего дня. Здесь всё случается во время игры:

Хорошо созревает рябина,
значит нужен рябинострел,
чтобы щёлкала резко резина
и снарядик нестрашный летел.
<...>
Дружным залпом в атаке последней
понарошку убили меня,
и всё тянется морок посмертный
до сих пор с того самого дня.

Замечательно, что автор использует здесь соединительный союз *и* («и всё тянется морок посмертный»), а не разделительный союз *но* (мог бы написать «**но** всё тянется морок посмертный», но не написал). То есть для лирического героя, применительно к себе, нет противопоставления смерти *понарошку* и смерти *взаправду*. Примеряя на себя эту игру, он переживает её почти как настоящую, конечно без слёз и вообще каких-либо внешних эмоций, как в случае с реальной смертью второклассника Миши, но зато дольше («до сих пор с того самого дня», а не «до конца весны») и болезненнее. Вся последующая жизнь теперь кажется ему «посмертным мороком», он как бы живёт теперь после смерти. Смерть в этой книге, как и осень, словно тоже поставлена «на паузу». Возможно, в такие минуты, благодаря таким переживаниям и появляется поэт со своим ощущением метафизического родства всему смертному. Это ощущение и привносит в книгу сдержанную и сердечную интонацию, тихий, негромкий голос автора, его бережное, даже осторожное, отношение к прошедшему. Нож-бабочка, он, конечно, нож, но всё-таки, как ни крути – ещё и бабочка – а бабочку так легко спугнуть. Этим ощущением обусловлена в книге оптика поэта. Она настроена так, чтобы увидеть, не пропустить любую мелочь: гвозди и черепки, раковины улиток, горстку медяшек, облетающую с клёнов «хохлому», кошку, шурящуюся от фотовспышки, беседку-грибок со скамейкой на школьном дворе и фанерного гнома, ржавую горку, песок, качели, турник на детской площадке, несохнувшие лужи во дворе и т.д. и т.п. Потому что любая мелочь делает воспоминание вещественным, любая мелочь свидетельствует о том, что тот мир действительно был, и сейчас благодаря

тому, что они сохранены, эти мелочи, к нему можно прикоснуться, даже словно переселиться в него на время и побыть там, среди осязаемых вещей, а не бродить в безвоздушном пространстве авторской фантазии. Нет, поэт совсем не просит нас верить ему на слово – он предъявляет вещественные доказательства. Это же ощущение метафизического родства всему смертному не позволяет, например, осудить своих же товарищей и отделять себя от них, а заставляет жалеть их, испытывать к ним нежность и попытаться спасти их от забвения вместе с миром своего школьного и дворового детства. И, например, про «Нож-бабочку» Алёшка и Ромка уже не смогли бы сказать так высокомерно: там ничего про нас нет. Здесь про них есть всё! Эта книга про них и написана.

Логика развития такого замысла, такого сюжета – изгнания из рая, воспоминаний о минувшем детстве – требует от автора ещё и смелости показать, а что же всё-таки выросло? К чему пришли и кем стали Алёшки и Ромки и сам лирический герой. Григорий Медведев не боится сказать и об этом. Вторую часть книги завершает такое стихотворение:

мы выросли и стали мудаками.
мир нас поймал со всеми потрохами,
перефразируя г.с. сковороду.
пришлось идти работать муравьями:*
нас подсчитали, уплотнили, уравнили
и взяли на полставки за еду,
где мы состарились и скоро миновали.
мир нас поймал, мы в мире мировали
и перед сном читали ерунду.

(*обратите внимание, как преобразилось «муравейное братство» из стихотворения «Жил каждый день, но почти ничего не помню...»)

Тут нельзя не заметить ещё и то, что в этом стихотворении поэт чувствует, что в прежней поэтике ему уже тесно. Задача выполнена, мир детства сохранён, книжка, где есть всё про Алёшку и Ромку, написана. Поэт должен идти дальше. И третья часть книги и есть попытка вырваться за границы уже освоенной поэтики. И хотя и там встречаются прекрасные стихи-ретроспекции (например, такие: «а в сентябре вручную давили сок...», «Две дубовые балки держат над головой / потолок этот жалкий, уголок родовой...», «Яблоня плодоносит лет пятьдесят...»), но в них лирический герой уже смотрит в прошлое из сегодняшнего дня, не ассоциируя себя с тем школьником, которым когда-то был. А на странице 42 мы читаем стихотворение, в котором осень «с паузы снимается»:

Осень. Октябрь. **Торопливо** желтеет листва. (*Выделено мной – Д.Л.*)
Время срезает меня незаметно, едва-едва.
И, опадая на землю, за слоём слой,
Я шепчу снегу: укрой, укрой.
(«Осень. Октябрь. Торопливо желтеет листва...»)

В завершающем же книгу стихотворении эта задача преодоления уже освоенной поэтики и смены оптики декларируется поэтом прямым текстом:

Как будто выморгал соринку
И, с оптикой, другой от слёз,
Впервые поглядел всерьёз
Сюда. И всё тебе в новинку.

Уже, смотри-ка, дуб зазеленел,
И комариный князь Болконский зазвенел,
И братья муравейные сутулясь*
Шагают среди трав своих и улиц.
Оставь тяжеловесную печаль.
Она здесь устарела, как пицаль,**
И через раз грозит осечкой.
Не бойся: нас и так прикроют, защитят
Те, что в осоке медленно шуршат
И, легкокрылые, висят над речкой.

(* опять они!

**восхитимся изящной игрой слов: печаль – устарела, как пицаль, как здесь к месту, рядом с печалью эта «пицаль», которая тянет за собой, подразумевает глагол «пицать» и от которого она и взяла себе название.)

Что ж, от всей души пожелаем ему удачи и будем ждать новых книг.